

УДК 821.131.1-31
ББК 84(4Ита)-44
Б78

Серия «Эксклюзивная классика»

Giovanni Boccaccio

DECAMERONE

Перевод с итальянского *А. Веселовского*

Стихи в переводе *П. Вейнберга*

Серийное оформление *Е. Фerez*

Компьютерный дизайн *А. Чаругиной*

Боккаччо, Джованни.

Б78 Декамерон / Джованни Боккаччо ; [пер. с итал. А. Н. Веселовского ; стихи в пер. П. Вейнберга]. — Москва : Издательство АСТ, 2019. — 864 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-105072-6

«Декамерон». Величайшее прозаическое произведение раннего Возрождения, 10 новелл, условно объединенных обрамляющим сюжетом о молодых итальянских кавалерах и их дамах, бежавших в сельское имение от эпидемии чумы и коротающих досуг занимательными историями. И какими историями — кажется, в них кипит, дышит, смеется и плачет сама Италия XIV века с ее озорным юмором, смесью искренней веры и задиристого вольнодумия, предприимчивостью и лукавством, бурным темпераментом и неукротимой жадой жизни и любви, счастья и самых разнообразных удовольствий.

УДК 821.131.1-31
ББК 84(4Ита)-44

ISBN 978-5-17-105072-6

© ООО «Издательство АСТ», 2019

НАЧИНАЕТСЯ КНИГА,

называемая Декамерон, прозванная Principe Galeotto, в которой содержится сто новелл, рассказанных в течение десяти дней семью дамами и тремя молодыми людьми.

ВВЕДЕНИЕ

Соболезновать удрученным — человеческое свойство, и хотя оно пристало всякому, мы особенно ожидаем его от тех, которые сами нуждались в утешении и находили его в других. Если кто-либо ощущал в нем потребность и оно было ему отрадно и приносило удовольствие, я — из числа таковых. С моей ранней молодости и по сию пору я был воспламенен через меру высокою, благородною любовью, более, чем, казалось бы, приличествовало моему низменному положению, — если я хотел о том рассказать; и хотя знающие люди, до сведения которых это доходило, хвалили и ценили меня за то, тем не менее любовь заставила меня претерпевать многое, не от жестокости любимой женщины, а от излишней горячности духа, воспитанной неупорядоченным желанием, которое, не удовлетворяясь возможной целью, нередко приносило мне больше горя, чем бы следовало. В таком-то горе веселые беседы и посильные утешения друга доставили мне столько пользы, что, по моему твердому убеждению, они одни и причиной тому, что я не умер. Но по благоусмотрению Того, который, будучи сам бесконечен, поставил непреложным законом всему сущему иметь конец, моя любовь, — горячая паче других, которую не в состоянии была порвать или поколебать никакая сила намерения, ни совет, ни страх явного

стыда, ни могущая последовать опасность, — с течением времени сама собою настолько ослабела, что теперь оставила в моей душе лишь то удовольствие, которое она обыкновенно приносит людям, не пускающимся слишком далеко в ее мрачные волны. Насколько прежде она была тягостной, настолько теперь, с удалением страданий, я ощущаю ее как нечто приятное. Но с прекращением страданий не удалась память о благодеяниях, оказанных мне теми, которые, по своему расположению ко мне, печалились о моих невзгодах; и я думаю, память эта исчезнет разве со смертью. А так как, по моему мнению, благодарность заслуживает, между всеми другими добродетелями, особой хвалы, а противоположное ей — порицания, я, дабы не показаться неблагодарным, решился теперь, когда я могу считать себя свободным, в возмездие того, что сам получил, по мере возможности уготовить некое облегчение, если не тем, кто мне помог (они по своему разуму и счастью, может быть, в том и не нуждаются), то по крайней мере имеющим в нем потребу. И хотя моя поддержка, или, сказать лучше, утешение, окажется слабым для нуждающихся, тем не менее мне кажется, что с ним надлежит особливо обращаться туда, где больше чувствуется в нем необходимость, потому что там оно и пользы принесет больше, и будет более оценено. А кто станет отрицать, что такого рода утешение, каково бы оно ни было, приличнее предлагать прелестным дамам, чем мужчинам? Они от страха и стыда таят в нежной груди любовное пламя, а что оно сильнее явного, про то знают все, кто его испытал; к тому же связанные волею, капризами, приказаниями отцов, матерей, братьев и мужей, они большую часть времени проводят в тесной замкнутости своих покоев и, сидя почти без дела, желая и не желая в одно и то же время, питают различные мысли, которые не могут же быть всегда веселыми. Если эти мысли наве-

дут на них порой грустное расположение духа, вызванное страстным желанием, оно, к великому огорчению, останется при них, если не удалят его новые разговоры; не говоря уже о том, что женщины менее выносливы, чем мужчины. Всего этого не случается с влюбленными мужчинами, как то легко усмотреть. Если их постигнет грусть или удручение мысли, у них много средств облегчить его и обойтись, ибо, по желанию, они могут гулять, слышать и видеть многое, охотиться за птицей и зверем, ловить рыбу, ездить верхом, играть или торговать. Каждое из этих занятий может привлечь к себе душу, всецело или отчасти, устранив от нее грустные мысли, по крайней мере на известное время, после чего, так или иначе, либо наступает утешение, либо умалется печаль. Вот почему, желая отчасти исправить несправедливость фортуны, именно там поскупившейся на поддержку, где меньше было силы, — как то мы видим у слабых женщин, — я намерен сообщить на помощь и развлечение любящих (ибо остальные удовлетворяются иглой, веретеном и мотовилом) сто новелл, или, как мы их назовем, басен, притч и историй, рассказанных в течение десяти дней в обществе семи дам и трех молодых людей в губительную пору прошлой чумы, и несколько песенок, спетых этими дамами для своего удовольствия. В этих новеллах встретятся забавные и печальные случаи любви и другие необычайные происшествия, приключившиеся как в новейшие, так и в древние времена. Читая их, дамы в одно и то же время получают и удовольствие от рассказанных в них забавных приключений, и полезный совет, поскольку они узнают, чего им следует избегать и к чему стремиться. Я думаю, что и то и другое обойдется не без умаления скуки; если, даст Бог, именно так и случится, да возблагодарят они Амура, который, освободив меня от своих уз, дал мне возможность послужить их удовольствию.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Начинается первый день Декамерона, в котором, после того как автор рассказал, по какому поводу собрались и беседовали выступающие впоследствии лица, под председательством Пампиней, рассуждают о чем кому заблагорассудится

Всякий раз, прелестные дамы, как я, размыслив, подумаю, насколько вы от природы сострадательны, я прихожу к убеждению, что вступление к этому труду покажется вам тягостным и грустным, ибо таким именно является начертанное в челе его печальное воспоминание о прошлой чумной смертности, скорбной для всех, кто ее видел или другим способом познал. Я не хочу этим отвратить вас от дальнейшего чтения, как будто и далее вам предстоит идти среди стенов и слез: ужасное начало будет вам тем же, чем для путников неприступная, крутая гора, за которой лежит прекрасная, чудная поляна, тем более нравящаяся им, чем более было труда при восхождении и спуске. Как за крайнюю радость следует печаль, так бедствия кончаются с наступлением веселья, — за краткой грустью (говорю: краткой, ибо она содержится в немногих словах) последуют вскоре утеха и удовольствие, которые я вам наперед обещал и которых,

после такого начала, никто бы и не ожидал, если бы его не предупредили. Сказать правду: если бы я мог достойным образом повести вас к желаемой мною цели иным путем, а не столь крутую тропой, я охотно так бы сделал; но так как нельзя было, не касаясь того воспоминания, объяснить причину, почему именно приключились события, о которых вы прочтете далее, я принимаюсь писать, как бы побужденный необходимостью.

Итак, скажу, что со времени благотворного вочеловечения Сына Божия минуло 1348 лет, когда славную Флоренцию, прекраснейший из всех итальянских городов, постигла смертоносная чума, которая, под влиянием ли небесных светил, или по нашим грехам посланная праведным гневом Божиим на смертных, за несколько лет перед тем открылась в областях востока и, лишив их бесчисленного количества жителей, безостановочно подвигаясь с места на место, дошла, разрастаясь плачевно, и до запада. Не помогали против нее ни мудрость, ни предусмотрительность человека, в силу которых город был очищен от нечистот людьми, нарочно для того назначенными, запрещено ввозить больных, издано множество наставлений о сохранении здоровья. Не помогали и умиленные моления, не однажды повторявшиеся, устроенные благочестивыми людьми, в процессиях или другим способом. Приблизительно к началу весны означенного года болезнь начала проявлять свое плачевное действие страшным и чудным образом. Не так, как на востоке, где кровотечение из носа было явным знамением неминуемой смерти, — здесь в начале болезни у мужчин и женщин показывались в пахах или под мышками какие-то опухоли, разраставшиеся до величины обыкновенного яблока или яйца, одни более,

другие менее; народ называл их *gavoccioli* (чумными бубонами); в короткое время эта смертельная опухоль распространялась от указанных частей тела безразлично и на другие, а затем признак указанного недуга изменялся в черные и багровые пятна, появлявшиеся у многих на руках и бедрах и на всех частях тела, у иных большие и редкие, у других мелкие и частые. И как опухоль являлась вначале, да и позднее оставалась вернейшим признаком близкой смерти, таковым были пятна, у кого они выступали. Казалось, против этих болезней не помогали и не приносили пользы ни совет врача, ни сила какого бы то ни было лекарства: таково ли было свойство болезни, или невежество врачующих (которых, за вычетом ученых-медиков, явилось множество, мужчин и женщин, не имевших никакого понятия о медицине) не открыло ее причин, а потому не находило подобающих средств, — только немногие выздоравливали и почти все умирали на третий день после появления указанных признаков, одни скорее, другие позже, — большинство без лихорадочных или других явлений. Развитие этой чумы было тем сильнее, что от больных, через общение с здоровыми, она переходила на последних, совсем так, как огонь охватывает сухие или жирные предметы, когда они близко к нему подвинуты. И еще большее зло было в том, что не только беседа или общение с больными переносило на здоровых недуг и причину общей смерти, но, казалось, одно прикосновение к одежде или другой вещи, которой касался или пользовался больной, передавало болезнь дотрагивавшемуся. Дивным покажется, что я теперь скажу, и если б того не видели многие и я своими глазами, я не решился бы тому поверить, не то что написать, хотя бы и слышал о том от человека, заслуживающего доверия. Скажу, что таково было свойство этой заразы при передаче

ее от одного к другому, что она приставала не только от человека к человеку, но часто видали и нечто большее: что вещь, принадлежавшая больному или умершему от такой болезни, если к ней прикасалось живое существо не человеческой породы, не только заражала его недугом, но и убивала в непродолжительное время. В этом, как сказано выше, я убедился собственными глазами, между прочим, однажды на таком примере: лохмотья бедняка, умершего от такой болезни, были выброшены на улицу; две свиньи, набредя на них, по своему обычаю, долго теребили их рылом, потом зубами, мотая их со стороны в сторону, и по прошествии короткого времени, закружившись немного, точно поев отравы, упали мертвые на злополучные тряпки.

Такие происшествия и многие другие, подобные им и более ужасные, порождали разные страхи и фантазии в тех, которые, оставшись в живых, почти все стремились к одной, жестокой, цели: избегать больных и удаляться от общения с ними и их вещами; так поступая, воображали сохранить себе здоровье. Некоторые полагали, что умеренная жизнь и воздержание от всех излишеств сильно помогают борьбе со злом; собравшись кружками, они жили, отделившись от других, укрываясь и запираясь в домах, где не было больных и им самим было удобнее; употребляя с большой умеренностью изысканнейшую пищу и лучшие вина, избегая всякого излишества, не позволяя кому бы то ни было говорить с собою и не желая знать вестей извне — о смерти или больных, — они проводили время среди музыки и удовольствий, какие только могли себе доставить. Другие, увлеченные противоположным мнением, утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, удовлетворять, по возможности, всякому желанию,

смеяться и издеваться над всем, что приключается — вот вернейшее лекарство против недуга. И как говорили, так, по мере сил, приводили и в исполнение, днем и ночью странствуя из одной таверны в другую, выпивая без удержу и меры, чаще всего устраивая это в чужих домах, лишь бы прослышали, что там есть нечто им по вкусу и в удовольствие. Делать это было им легко, ибо все предоставили и себя и свое имущество на произвол, точно им больше не жить; оттого большая часть домов стала общим достоянием, и посторонний человек, если вступал в них, пользовался ими так же, как пользовался бы хозяин. И эти люди, при их скотских стремлениях, всегда, по возможности, избегали больных. При таком удрученном и бедственном состоянии нашего города почтенный авторитет как Божеских, так и человеческих законов почти упал и исчез, потому что их служители и исполнители, как и другие, либо умерли, либо хворали, либо у них осталось так мало служилого люда, что они не могли отправлять никакой обязанности; почему всякому позволено было делать все, что заблагорассудится.

Многие иные держались среднего пути между двумя, указанными выше: не ограничивая себя в пище, как первые, не выходя из границ в питье и других излишествах, как вторые, они пользовались всем этим в меру и согласно потребностям, не запирались, а гуляли, держа в руках кто цветы, кто пахучие травы, кто какое другое душистое вещество, которое часто обоняли, полагая полезным освежать мозг такими ароматами, — ибо воздух казался зараженным и зловонным от запаха трупов, больных и лекарств. Иные были более сурового, хотя, быть может, более верного мнения, говоря, что против зараз нет лучшего средства, как бегство перед ними. Руководясь этим убеждением, не заботясь ни о чем, кроме себя, множество

мужчин и женщин покинули родной город, свои дома и жилья, родственников и имущества и направились за город, в чужие или свои поместья, как будто гнев Божий, каравший неправедных людей этой чумой, не взыщет их, где бы они ни были, а намеренно обрушится на оставшихся в стенах города, точно они полагали, что никому не остаться там в живых и настал его последний час.

Хотя из этих людей, питавших столь различные мнения, и не все умирали, но не все и спасались; напротив, из каждой группы заболевали многие и повсюду, и как сами они, пока были здоровы, давали в том пример другим здоровым, они изнемогали, почти совсем покинутые. Не станем говорить о том, что один горожанин избегал другого, что сосед почти не заботился о соседе, родственники посещали друг друга редко, или никогда, или виделись издали: бедствие воспитало в сердцах мужчин и женщин такой ужас, что брат покидал брата, дядя племянника, сестра брата и нередко жена мужа; более того и невероятнее: отцы и матери избегали навещать своих детей и ходить за ними, как будто то были не их дети. По этой причине мужчинам и женщинам, которые заболевали, а их количества не исчислить, не оставалось другой помощи, кроме милосердия друзей (таковых было немного), или корыстолюбия слуг, привлеченных большим, не по мере жалованьем; да и тех становилось не много, и были то мужчины и женщины грубого нрава, непривычные к такого рода уходу, ничего другого не умевшие делать, как подавать больным, что требовалось, да присмотреть, когда они кончались; отбывая такую службу, они часто вместе с заработком теряли и жизнь. Из того, что больные бывали покинуты соседями, родными и друзьями, а слуг было мало, развилась привычка, дотоле неслыханная, что

дамы красивые, родовитые, заболевая, не стеснялись услугами мужчины, каков бы он ни был, молодой или нет, без стыда обнажая перед ним всякую часть тела, как бы то сделали при женщине, лишь бы того потребовала болезнь — что, быть может, стало впоследствии причиной меньшего целомудрия в тех из них, которые исцелялись от недуга. Умирили, кроме того, многие, которые, быть может, и выжили бы, если б им подана была помощь. От всего этого и от недостаточности ухода за больными, и от силы заразы, число умиравших в городе днем и ночью было столь велико, что страшно было слышать о том, не только что видеть. Оттого, как бы по необходимости, развились среди горожан, оставшихся в живых, некоторые привычки, противоположные прежним. Было в обычае (как то видим и теперь), что родственницы и соседки собирались в дому покойника и здесь плакали вместе с теми, которые были ему особенно близки; с другой стороны, у дома покойника сходились его родственники, соседи и многие другие горожане и духовенство, смотря по состоянию усопшего, и сверстники несли его тело на своих плечах, в погребальном шествии со свечами и пением, в церковь, избранную им еще при жизни. Когда сила чумы стала расти, все это было заброшено совсем или по большей части, а на место прежних явились новые порядки. Не только умирали без сходбища многих жен, но много было и таких, которые кончались без свидетелей, и лишь очень немногим доставались в удел умильные сетования и горькие слезы родных; вместо того, наоборот, в ходу были смех и шутки и общее веселье: обычай, отлично усвоенный, в видах здоровья, женщинами, отложившими большею частью свойственное им чувство сострадания. Мало было таких, тело которых провожали бы до церкви более десяти или двенадцать